

Афоризм как философский жанр во французской салонной культуре XVII в. и в современной французской мысли

Один из жанров, наиболее характерных для французской литературы, включая философскую литературу, – жанр афоризма. В качестве знаменитых примеров можно привести «Максимы и моральные размышления» Ларошфуко и «Характеры» Лабрюйера.

Расцвет афоризма в XVII в. – классическом веке для французской культуры – связан с возникновением и распространением салонов. Для салона ключевое искусство – изысканная беседа, умение точно и емко формулировать свои мысли, выражать их в лаконичной, запоминающейся форме. Беседа, состоящая из блестящих, остроумных высказываний, – особый, типичный для салонного общения тип коммуникации. Можно вспомнить парадоксы Оскара Уайльда, тоже связанные со светской культурой.

Салон – итальянское изобретение XVI в., которое процветало во Франции XVII–XVIII вв. В Италии XVI в. некоторые малые дворы превращались в интеллектуальные центры, часто формировавшиеся вокруг прекрасной и высокообразованной патронессы, какими были Изабелла д’Эсте или Елизавета Гонзага.

Слово «салон» впервые появилось во Франции в 1664 г. Оно образовано от итальянского *salone*, производного от *sala* – так называлась большая приемная в итальянских дворцах. Салон стал важным местом обмена информацией. Литературные собрания и раньше получали наименование по названию помещения, в котором они проводились, например *cabinet*, *réduit*, *ruelle* или *alcôve*. Вплоть до конца XVII в. такие собрания часто происходили в

спальне: дама, лежа в постели, принимала близких друзей, которые рассаживались на стульях или табуретах вокруг кровати. Эта камерная атмосфера контрастировала с утренним приемом у Людовика XIV (*petit lever*), где все присутствовавшие стояли. Слово *guelle* (дословно «улочка») обозначало пространство между кроватью и стеной спальни. Обыкновенно оно использовалось, когда речь шла о собраниях *grécieuses* – интеллектуального и литературного круга женщин, сложившегося в первой половине XVII в. Первым салоном во Франции стал отель Рамбуйе. Он образовался вокруг Катрин де Вивонн, маркизы де Рамбуйе (1588–1665), и функционировал с 1607 г. вплоть до ее смерти. Маркиза, которую часто называли просто мадам де Рамбуйе, была дочерью и наследницей Жана де Вивона, маркиза Пизани. Её мать Джулия принадлежала к аристократической римской семье Савелли. В возрасте 12 лет Екатерина была выдана замуж за Шарля д'Анжанна, виконта Ле Мана и впоследствии маркиза Рамбуйе. После рождения своей старшей дочери, Жюли д'Анжанн, молодая маркиза почувствовала желание не появляться больше при королевском дворе, полном интриг, и начала собирать вокруг себя кружок, ставший позже таким знаменитым. Её резиденцией был Отель Пизани, который позже стали называть Отель де Рамбуйе (*Hôtel de Rambouillet*). В ее апартаментах было несколько небольших помещений, где гости могли найти больше уединения и чувствовать себя свободнее, чем в парадной зале. Сама она принимала в голубой гостиной – знаменитой *chambre bleue*. Маркиза с равной приветливостью встречала аристократов и литераторов. Ключевым искусством в ее салоне было мастерство точного и ясного слова, искусство выражения. Среди завсегдатаев мадам Рамбуйе были Великий Конде, его сестра герцогиня де Лонгвиль, Пьер Корнель, Жан де Лафонтен, мадам де Севинье, Жорж и Мадлен де Скюдери, мадам де Лафайет, Винсент Вуатюр, Поль Скаррон, Франсуа Малерб, Жиль Менаж, Таллеман де Рео, Валентин Конрар, Антуан Годо. «Салон маркизы де Рамбуйе повлиял на становление прециозной культуры, культуры утонченного светского досуга, предполагающей особые свойства сердца и ума, благородные манеры. В прециозности старались соединить традиции куртуазной культуры с современным хорошим вкусом. «*Les Précieuses*» (драгоценные, возвышенные, утонченные) – слово, которым обозначались большие дамы: Ката-

рина де Вивон, маркиза де Рамбулье, принцесса Монпансье, Жюли д'Анжанны, девица Скюдери, – пользовались огромным уважением в светском обществе Франции, группировавшемся при дворе или недалеко от него» («Литературная Энциклопедия»).

Историография салонов достаточно богата. Салоны изучались феминистами, марксистами, историками культуры и исследователями интеллектуальной истории. Стивен Кейл указывает: «Существованию французских салонов благоприятствовал целый ряд факторов: аристократия с ее досугом, амбициозный средний класс, активная интеллектуальная жизнь, плотность населения в крупных городах, традиции общения и определенный аристократический феминизм»¹. Дина Гудман предполагает, что салоны были не столько способом организации досуга или школой civility, сколько находились «в самом сердце философского сообщества»². По мнению Гудман, в XVII–XVIII вв. сложился «академический» салон, в котором ведущую роль играли академические дискуссии. Литература XVII в. в качестве основных принципов организации салона называет *politesse*, *civilité* и *honnêteté*. Первый из этих принципов обозначает, в частности, сюжеты уместные для обсуждения в салоне и предполагает наличие неуместных. Марсель Пруст настаивал, что политика тщательным образом избегалась³. Юрген Хабермас в работе *The Structural Transformation of the Public Sphere*⁴ показывает, что салоны имели чрезвычайное историческое значение. Арены общения и обмена информацией, как салоны во Франции и кофейни в Англии, сыграли важную роль в возникновении того, что Хабермас назвал *Public Sphere*, которая противостояла придворной культуре⁵. Критики Хабермаса полагают, что салоны не создавали оппозиционную культуру, а были частью придворной. Норберт Элиас в своей «Истории манер» указывает, что *politesse*, *civilité* и *honnêteté* – три основных принципа существования салона – «использовались практически как синонимы, посредством которых придворные обозначали норму собственного поведения»⁶. Джоан Ландз находит, что салоны были уникальным институтом, не принадлежавшим ни придворной, ни оппозиционной культуре⁷.

Все историки согласны в том, что в салонах исключительную роль играли женщины. Хозяйка салона решала, кого пригласить, и выбирала предмет для беседы. Женщины в салоне обменивались

идеями, читали свои произведения, выслушивали критику, знакомились с творчеством интеллектуалов и критиковали их. Для многих честолюбивых женщин салон играл роль высшего образования.

В 1652 г. **Мадлен де Скудери**, одна из постоянных посетительниц **Мадам Рамбуе**, открыла собственный салон в **Марэ**. В отеле **Рамбуе** мадемуазель де Скудери получила прозвище «Сафо». Слава ее была так велика, что в 1695 г. **Людовик XIV повелел выбить медаль с ее изображением**. Мадемуазель де Скудери написала несколько романов, самые знаменитые из них – «**Артамен, или Великий Кир**», насчитывающий около 14 000 страниц, и «**Клелия**» с приложенной к ней «**Картой Страны Нежности**» – связующим звеном между «**Романом о Розе**» и феноменологией любви, разработанной в культуре рококо. Кроме того, **Мадлен де Скудери** написала несколько трактатов – «**Беседы на различные темы**», «**Новые беседы на различные темы**», «**Нравственные беседы**» и «**Новые нравственные беседы**».

Мари-Мадлен де Лафайет посещала оба салона – отель **Рамбуе** и **Марэ**. Ее наиболее известный роман – «**Принцесса Клевская**». В **драматичном психологическом романе есть и исторический пласт** (среди действующих лиц – **Екатерина Медичи, Франциск II, Мария Стюарт**), и символический (отзвуки легенды о **Тристане и Изольде**), и нравственные максимы в духе **Ларошфуко** – близкого друга мадам **Лафайет**. Интересный эпизод произошел по поводу этого романа во **Франции в 2006 г.** **Николя Саркози**, тогда еще министр внутренних дел **Франции** и кандидат на президентское кресло, выступал в **Лионе** на собрании чиновников, где сказал следующее: «**Что касается общественных должностей, здесь надо кончать с гнетом конкурсов и экзаменов. Недавно я развлекался... рассматривая конкурсную программу административных служащих. Какой-то садист или дурак – выбирайте сами – поставил в конкурсную программу «Принцессу Клевскую». Не знаю, часто ли вам приходится спрашивать у служащей, что она думает по поводу «Принцессы Клевской»... Представьте-ка себе это зрелище! В любом случае я читал ее так давно, что, вероятнее всего, провалил бы этот экзамен!**» Студенты и преподаватели из **Сорбонны** разослали по всей **Франции** коммюнике, в котором призвали всех желающих выйти на улицы **Парижа** и устроить своеобразный марафон – прочитать вслух «**Принцессу Клевскую**». «Потому что

мы хотим жить в мире, где могли бы говорить о «Принцессе Клевской», о каких-то других текстах да и об искусстве и кино с нашими согражданами, какую бы должность они ни занимали. Потому что мы убеждены, что чтение литературного текста помогает нам встретиться лицом к лицу с этим миром, профессиональным или личным. Потому что мы верим в то, что без сложностей любые размышления и культура демократии мертвы. Потому что мы верим, что университет есть и должен быть местом красоты, а не показателей, размышлений, а не рентабельности...», – говорилось в коммюнике⁸. Таким образом «Принцесса Клевская» стала символом французской культуры.

Салонная культура XVII–XVIII вв. послужила питательной средой для жанра афоризма, однако сам этот жанр существует и в наше время. Сущность афоризма как философского жанра наглядно уясняется в книге Бернара Маршадье «Вспышки ясности».

«Clarity must exist in order that charity may exist» («Ясность необходима, чтобы любовь стала возможна»), – эта цитата из Чарльза Уильямса служит эпиграфом к небольшой книге Маршадье. «Любовь» здесь означает христианскую любовь – любовь к ближнему, милосердие, сострадание (*caritas*). Цитата озадачивает: что общего между ясностью и милосердной любовью?

Название книги можно передать по-разному – «Проблески ясности» или, рискованнее, «Вспышки ясности» (в конце авторского предисловия говорится о «редких вспышках во мраке»). Ясность вспыхивает лишь мгновениями, и эти мгновения откладываются в сжатых формулах.

«Нас нет здесь и сейчас, – так начинается книга. – Чаще всего наша мысль (*esprit*) занята где-то в другом месте – блуждает в тумане смутных воспоминаний, в мечтах о будущем, в потоке сознания, среди разрозненных образов и впечатлений, и еще хорошо, если наш дух (*esprit*) не становится добычей кошмаров – навязчивых идей, тоски и страстей. Лишь в редчайшие мгновения мы оказываемся в настоящем – в единственном времени, где возможна встреча с реальностью, на единственном якорю, удерживающем душу.

Настоящее – это время ясности, единственное время, где сияет свет Ума (*Intelligence*), где может проявиться божественное и где слышен голос вдохновения. Это время предельного внимания – к миру вещей, к природному миру и миру идей, но также и внимания к себе подобным. Лишь в отчетливой мысли (*intelligence*), в ясности, когда

мы не суетимся и не рассеиваемся, может проступить подлинный образ другого. Другой предстает тогда как ближний, потому что узнать можно только ближнего. Напротив, любовь к дальнему, которая по определению не относится к тому, что здесь (hic), никогда не коренится в настоящем (nunc)»⁹.

В этих двух абзацах с исключительной плотностью собраны и связаны между собой основные темы книги: внимание и память, время, бытие и небытие, форма как способ бытия, понимание (intelligence), другой как ближний, общение и разобщенность. За отдельными «вспышками» стоит единое целое. Оно не изложено как последовательно развертывающаяся концепция, но обладает четкой внутренней логикой – ассоциативные связи, как видно из приведенной цитаты, для автора не имеют ценности. Форма афоризма – остро, иногда парадоксального изречения – способствует концентрации внимания, требует собранности, удерживая читателя в настоящем.

История афоризма во французской мысли и литературе восходит к Монтеню: изящество формулировки – для гуманистов одна из основных добродетелей. Тяжеловесная форма обесмысливает любое содержание – тут вспоминаются инвективы Петрарки против поздней схоластики. Готовые клише, «мнения», от которых должна освободить философия, чужие слова, не прожитые в собственном опыте, превращаются в громоздкие концепции. Трезвое внимание к собственным слабостям, к собственному незнанию – присущий Монтеню скепсис в лучшем, классическом смысле этого слова – напротив, требует отточенной формы. Часто эта форма уже найдена прежде нас и не стоит заниматься скверным пересказом того, что намного лучше было сказано в античности: гуманисты постоянно обращаются к Сенеке, Цицерону, Плутарху. Еще один мотив гуманизма – тема дара (в противовес ремесленному, заключенному в собственные рамки труду): «Наши доводы и рассуждения – тяжелая, бесплодная материя: форму ей придает только дарованная Богом благодать» («Опыты», книга 2, глава 12). Может быть, христианский гуманизм Монтеня близок автору «Вспышек» не в последнюю очередь благодаря этому пониманию формы. «Мир, в котором преобладает бесформенное, – это мир, утративший свой формирующий принцип, свою душу. Мир, из которого ушел Бог. Gott ist Form (Готтфрид Бенн)»¹⁰.

И еще к теме христианского гуманизма: «Антигуманизм – ико-
ноборство»¹¹.

Монтень «видел в искусстве сжатого разговора “наиболее плодотворное и естественное занятие нашего ума (esprit)”»¹², однако классическим жанр афоризм становится в XVII–XVIII в., у французских моралистов. Атмосфера салонов с ее культом остроумия, краткого, блестящего (и часто едкого) слова проступает в «Максимах» Ларошфуко. Афоризмы здесь напоминают процветающее в эту эпоху искусство фехтования: нужно попасть в точку, уколоть, причем в мастерстве часто и заключается основной смысл поединка. Каждая сентенция рассчитана на некоторую паузу, когда читатель применит ее к себе (или к другим). Областью наблюдения являются человеческие слабости: в семистах «Максимах», кажется, не упущена ни одна из страстей. Книге Маршадье присуща выработанная в этой литературе четкость и прозрачность, хотя у него совершенно иная тематика и интонация. «Мы находим много черт, – пишет в предисловии ко «Вспышкам» о Владимир Зелинский, – сближающих автора этой книги с плеядой его предшественников: стремление к ясности, мастерство острой, краткой фразы, пафос дистанции по отношению к обществу, ... тональность и ритм фразы, способность собрать мысль в один плотный узел. Но есть и значительная разница: в классическом афоризме XVII–XVIII вв. все содержание, как правило проникнутое скепсисом и насмешкой, исчерпывается словесной формой, и читатель оказывается в замкнутом пространстве – в некоем солипсизме презрения. Напротив, чтение книги Маршадье освобождает, потому что его мысль ориентирована на общение»¹³.

«Пафос дистанции по отношению к обществу», действительно, у Маршадье напоминает моралистов, однако здесь критика относится не столько к «нравам» современников, сколько носит онтологический характер. «Средства массовой информации портят наш слух»¹⁴. «Ежедневная эрозия жизненных сил...» (там же). «Умерла медлительность, и с ней – зрелость, которая была возможна благодаря ей»¹⁵. «Техника ускоряет время, и непредсказуемое становится неотвратимее»¹⁶. «Техническое решение – усложнять проблему, чтобы ее разрешить»¹⁷ (с. 42). «Модернист: всякий, кто верит в незыблемую ценность нигилизма» (там же).

Торжествующему нигилизму и сумбуру нашей эпохи противостоит ясная, собранная мысль, наилучшим выражением для которой становится жанр афоризма. Вчитаемся в текст Маршадье, чтобы по достоинству оценить эту связь жанра и его содержания. Текст перед нами.

«Как правило, нас нет здесь и сейчас. Чаще всего наша мысль (esprit) занята где-то в другом месте – блуждает в тумане смутных воспоминаний, в мечтах о будущем, в потоке сознания, среди разрозненных образов и впечатлений, и еще хорошо, если наш дух (esprit) не становится добычей кошмаров – навязчивых идей, тоски и страстей. Лишь в редчайшие мгновения мы оказываемся в настоящем – во времени как таковом, единственном времени, где возможна встреча с реальностью, на единственном якорю, удерживающем душу от блужданий.

Настоящее – это время ясности, единственное время, где сияет свет Ума (Intelligence), где может проявиться божественное и где слышен голос вдохновения. Это время предельного внимания, интенции. Внимания к миру вещей, к природному миру и миру идей, но также и внимания к себе подобным. Лишь в отчетливой мысли (intelligence), в ясности, когда мы не суетимся и не рассеиваемся, может проступить подлинный образ другого. Другой предстает тогда как ближний, потому что узнать можно только ближнего. Напротив, любовь к дальнему, которая по определению не относится к тому, что здесь (hic), никогда не коренится в настоящем (nunc).

Только внимание к настоящему, времени света, позволяет увидеть человеческое общество с необходимой четкостью и в полной мере реализовать в нем (обществе) собственную природу, ибо мы созданы не столько для того, чтобы хранить внимание в одиночестве, сколько чтобы разделить с другими умами (лишь бы они были «сильными и упорядоченными») искусство выражения, то искусство сжатой беседы, в котором Монтень видел «наиболее плодотворное и естественное упражнение ума». Иногда из таких встреч рождаются вспышки ясности. Но остаемся ли мы одни или в обществе себе подобных, наше усилие всегда должно быть направлено на то, чтобы не позволять себе оторваться от реальности – единственного, что достойно восхищения. Приложим усилие, цепляясь за бытие в надежде, что однажды ясность окажется не редкими вспышками во мраке, но длительным состоянием внутренней прозрачности.

В немецкой армии на фронт Первой мировой войны доставляли *Menschmaterial* – «человеческий материал». Идея сохранилась, и на предприятиях наряду с материальными ресурсами управляют «человеческими ресурсами».

Кто хочет быть традиционалистом, не должен забывать, что хотеть что бы то ни было для себя – модернизм.

Журналы, театры, культура – постоянный шум толпы.

Средства массовой информации портят наш слух.

Ежедневная эрозия жизненных сил, подтачивающая последних оставшихся людей: современность всех нас оторвала от фундамента.

Во всем, что не касается непосредственно техники, наш мир заставляет – если хочешь остаться человеком – беспрерывно изобретать заново, и особенно – вновь находить уже открытое.

Умерла медлительность, и с ней – зрелость, которая была возможна благодаря ей.

Что мегаполис – сито, лучше всего демонстрирует городской транспорт – поезда, метро, трамваи, автобусы. Они собирают вместе всякую всячину и встряхивают горожан, лишая их социальных различий, оставив их “ободранными”, сводя их к физическому весу.

Мир, некогда состоявший из государств, которые им управляли, становится не городом, а пригородом – обитаемой зоной без центра и периферии. Слухи, люди и образы, циркулирующие в ней, берутся неизвестно откуда, разжигая злобу и увековечивая обиды. И потому единственная известная в этом мире форма войны – война гражданская, единственная армия – силы поддержания порядка, не обладающие ни бесспорной легитимностью (поскольку государство потеряло авторитет), ни преимуществом инициативы (мятежники всегда оказываются на шаг впереди).

Глобализация, неразлучная со своим основным инструментом – интернетом, осуществляется посредством техногенной виртуализации и приводит к повсеместному распространению нигилизма.

Большевики показали, что абсурд может воплотиться.

Одиночество в тишине, проникнутой запахом липы: высшая роскошь. Адом будет – и уже есть – скученность и возня в испорченном воздухе.

В раздробленном мире – ошметки личностей.

Надписи на стенах: варварство.

Благодаря упадку и отупению – эффектам современной техники – размножаются «антропоиды» (Мережковский), расцветает зверство и цивилизация оказывается под угрозой распада.

Подгоняя время, техника увеличивает неизбежность непредсказуемого.

Стены исписаны до самых крыш и ветер гонит по шоссе пластиковые пакеты. Под бледным светом неоновых ламп мелькают там и сям силуэты в капюшонах, руки в карманах курток. Хотя эти люди молоды, они сгорблены и странно раскачиваются. Когда проезжает машина, бас громкоговорителя на мгновение заглушает шум соседней машины. Мы в Злых Щелях (Terre Gaste). “Святого Лика мы не признаем” (Данте, Ад, XXI, 48).

Ошибочно думать, будто средства массовой информации могут распространять хоть какую-то истину. Когда идея попадает во всеобщее пользование, она превращается в лозунг, единственная сила которого в том, что он бьет по этой идее молотком.

Беги от инфантильных, от тех, кто тоскует по яслям, плюшевому мишке и анальной стадии – из них получаются самые жестокие.

Великий читатель – способный к дружбе. Он опыляет образы, аналогии и мысли и заставляет их приносить плоды.

Благо, которое поистине испытываешь при встрече с реальным человеком.

Манекен – главный персонаж всей рекламы, что бы она ни восхваляла – майки, машины, йогурты, поездки или спиртные напитки. Женщины первые соблазнились этой ролью, но и мужчины не остались в стороне, и теперь оба пола изощряются, уподобляя жизнь афише, превращаясь в марионетку, симулякр, человечка (исходное значение голландского слова *mannekijn*).

Улыбка – это музыка на лице.

Дефиле моды: конформизм провокативности, бизнес обесценивания.

Ум, набитый фактами, рецептами и информацией, и совершенно засоренный этим разнородным материалом.

Интеллектуала часто узнаешь по тому незрелому, что есть в его поведении, манерах, вкусах и даже в его теле (пятидесятилетние младенцы или мальчишки).

Умное лицо – доказательство существования Бога.

Когда наши желания формируются и удовлетворяются индустрией досуга, питания, секса, парфюмерии и культуры; когда достаточно зайти в супермаркет, чтобы купить вишни на Рождество, и через несколько часов полета можно увидеть Тадж Махал; когда все что угодно предлагается каждому в каждое мгновение, во взбудораженной толчее, – неверно было бы утверждать, что желания обострились, ведь на самом деле из-за отсутствия дистанции способность желать притупилась. Отвлечшись на кишаших кругом кроликов, охотник забывает, что вышел преследовать оленя, и даже если случайно выгонит его из леса, то обнаружит, что утратил силу и меткость.

Никогда не желать ничего, если это не великое желание. Есть без аппетита, пить, не чувствуя настоящей жажды, – вот в чем грех. Тот, кто жив по-настоящему, чувствует пламенную жажду.

Гурманство – самый тяжелый из основных грехов и в то же время – наименее тяжелый. Потому что участие духа в нем ограничивается первоначальным согласием. Получив это согласие, тело следует по своей тропе: еда, вино, табак. Когда ты видишь пьяницу, валяющегося в пу-

бличном месте, подумай, что зависть, ложь, скука и гордыня столкнули тебя гораздо ниже, потому что твой невидимый порок возвращен только духом и только им порожден.

Как бы ты ни был скверен и уродлив, не отчаивайся, не теряй ничего существенного. Горгульи на крыше тоже часть собора, не только святые на порталах.

“Действовать и, действуя, создавать себя”. Наоборот: не действовать и, ничего не делая, разрушать себя.

Смех – не свобода, он – освобождение (Сергей Аверинцев). Вот почему, согласно традиции, Христос – человек совершенный, а следовательно, свободный – никогда не смеялся. Юмор, напротив, предполагает свободу (по крайней мере, в определенной степени), и Христос произнес слово, в котором чувствуется улыбка: “*Tu es magister in Israel et haec ignoras?*” (Иоанн 3:10).

Если в мгновения досуга ты ищешь забвения, притупления чувств и прибежища, значит, ты раб, и не только своих страстей: просто раб. Если, напротив, ты ищешь интеллекта и созерцания, тогда ты свободен, и не только от твоих страстей.

Если ты хочешь, чтобы твоя жизнь оставалась музыкальной, не допускай чередования напряжения и рязрядки. Пусть струна твоего существования будет всегда равномерно натянута, издавая верный звук – пусть будет достаточно гибкой в усилении и никогда не провисает в часы досуга.

Не позволяй похитить твою радость, потому что там, где радость, – там территория божественного.

Мнемозина (память), мать муз. Нет вдохновения без припоминания.

Искусство отступает по мере того, как наши жизни завоевывает бесформенное. То, что справедливо для большинства областей, в которых форма разрушилась, – будь то кулинария, грамматика, любовь, коммерция, одежда, литургия или беседа, – справедливо и для искусства. Человек без стиля, без контура и без правил может породить лишь мир без форм, а значит, без искусства. Мы живем как раз в таком мире – по преимуществу техническом, набитом гипертрофированной информацией, где роковым образом ключевые слова – податливость и случайность.

Что испытал бы современник Люлли, слушая Шостаковича или Бриттена? Вероятно, тоску, как и мы. Разница между ним и нами в том, что в наши дни тоска возобладала и только ее и слышишь, даже когда это красиво.

Чувство, что в красоте проявляется сама сущность мира. Да, грегорианские секвенции и концерты Баха – это ритм Вселенной. Искусство Шартра, Файюма, Пуссена и Гольбейна – то, что есть человеческого в человеке и что даровано ему свыше.

Цвет совершенства – это улыбка. Но она не корень и не стебель. Улыбка над усилием, улыбка до расцвета, – это позолота.

Искусство – это образ небесной гармонии, но всего лишь образ: *quia veram musicam non potet humana imitari* (Ремигий из Оксерра).

Нефигуративное искусство, если не хочет ограничиваться декоративной ролью, вынуждено заявлять непомерные претензии на духовность (Кандинский), становясь тем самым незначительным. Действительно, безумие – как доказывают 30 000 лет живописи, рисунка и скульптуры – воображать, будто о высоких истинах можно напомнить иначе, чем в образах (*figures*) (бык, осел, солдат, сад, башня, яблоко, единорог, лев, гора, окно, мост, дерево, старик), смысл существования которых – изобразить (*figurer*) нечто большее, чем они сами.

Красота – живая, скромная и стыдливая. Чтобы к ней приблизиться, нужно время, спокойствие, уважение, большое желание, постоянство и доля хитрости. Художник – охотник. Охотник за формами. *Venator formarum*.

Мир, в котором преобладает бесформенное, – это мир, утративший свой формирующий принцип, свою душу. Мир, из которого ушел Бог. *Gott ist Form* (Готтфрид Бенн).

ROMA, mater fORMArum, Рим, который размежевал землю, упорядочил вселенную, построил и разделил на части империю, управлял нашими городами, издал законы для всех, дал столицу Церкви и язык цивилизации: каменоломня, куда народы будут постоянно возвращаться в поисках колонн и моделей жизни и искусства.

Цивилизация как мелодия, которую каждое поколение слышит в детстве, проникается ею, развивает ее и передает дальше.

То, что мы утверждаем, читаем или поем – по большей части палимпсест. Под ним находится один или несколько предыдущих текстов, наполовину стертых, которые мы воспроизводим, даже подправляем, думая, будто создали современный текст. Под абсидой – митранеум. Санта Мария sopra Минерва. Не изглаживать Минерву, чтобы не умаить Марии.

Уничтожить традиции, запретить Традицию, осмеять Истину, Добро, Красоту, установить повсюду нигилизм – короче, разоружить души – вот что совершенно необходимо терроризму, чтобы установить тотальное господство.

Беседа цивилизует и гуманизирует. Тереться посреди деперсонализованной массы – значит, напротив, стать диким и неотесанным.

Как драгоценны, дороги и необходимы ясные и свободные умы, не поддающиеся никакой пропаганде, не ставшие эхом моды, инструментом манипуляции! Простота, врожденная или приобретенная благодаря аскезе,

вкус к реальности, понимание вещей и их отношений – неважно происхождение и мера этих добродетелей; важно, что эти люди есть, они – спасательный круг в бурной ночи, не позволяющий нам утонуть в пучине.

Общее место, известное с древности, – это истина, всегда присущая человеческой природе, и от ума требуется лишь пробудить ее к жизни. Полная противоположность готовым идеям, клише и шаблонам – мертвым формулам.

Образование (*Bildung*) высвобождает образы (*Bild*), формирование освобождает от бесформенного и придает форму.

“Развитие” в применении к стране – чаще всего синоним отхода от цивилизации.

Блага от периода изоляции и от общения суммируются. Бесплодно и пагубно одиночество, которое не позволяет изоляции: то, которое навязывает толпа в «часы пик» или распространившаяся повсюду звуковая аппаратура.

Подняться можно только по ступенькам правил (грамматики, искусства, естественных наук, ремесел, морали, приличия). Знать их и следовать им.

Когда Клоринда упрекала его в том, что он консерватор, ему случилось заметить, что она не адресовала этот упрек своим друзьям экологам, заботившимся как раз о том, чтобы сохранить (*conserver*) исчезающие виды или качество воды и воздуха. Он утверждал, что цивилизованного европейца скоро будет столь же трудно найти – в его естественной среде обитания, а не в музеях и парках, – как окапи из Конго, орангутанга с Борнео, сибирского тигра, тирольский эдельвейс или голубого кита, и что поскольку цивилизация загрязнена гораздо больше, чем океан, нужно ее защищать. Но Клоринда ничего не хотела знать и отказывалась видеть, что средства массовой информации ежедневно загрязняют Европу столь же сильно, как танкеры с нефтью, разгружающиеся подле острова Уэссан.

Экзотический досуг, волчий голод по отношению к «информации», ажиотаж «коммуникации». И однако все происходит так, словно умы мельчают по мере того как идеи расширяются. Ум, набитый всяким хламом, даже если этот хлам собран с четырех концов света, – какой угодно ум, только не обширный.

Варварство. Из стремления к ясности и чтобы утвердиться в стойкости, было бы полезно видеть в потолке и стенах своей квартиры *limes* в римском, имперском, смысле термина.

Она предполагает бодрствование, забвение себя, концентрацию, утонченное созерцание, стремление к ясности, смирение, внутреннюю тишину, постоянство. Поэтому эрудиция – высокая добродетель, и если она блистает, то на манер священнической ризы, великолепия которой не является собственностью того, кто ее носит.

Возвращение из путешествия. Перенести на знакомое ту способность внимания, интерес к различиям, жажду знания, благожелательность, вкус к аналогиям, умение не сопротивляться удивлению, которые развились за границей и в которых заключается истинное оправдание путешествия.

Тишина существует, чтобы услышать Слово. Вот почему люди изошряются, чтобы создать шум. Чтобы не услышать, как Илия на горе Хорив, веяние тихого ветра, в котором говорит Бог.

Точный образ жизни ума и интеллектуального труда – ликующие фонтаны Версаля и Тиволи, с их изящной игрой воды и освежающим блеском. Не забывать, что за ними – огромная система подземной гидравлики, и особенно – обширные резервуары, куда стекаются искусно собранные воедино ручейки и от глубины которых зависит высота водомета. Без терпеливого накопления воды в желобах, бегущих по холму, – никакого фонтана в саду.

Избыток образов и ощущений опустошает душу, а пустая душа видит пустой мир и хочет только его.

По отношению к реальности – любящее смирение, испытующее, терпеливое, без которого невозможно выйти за пределы собственного ума.

Минимальная трезвость, чтобы остаться на Пути. В противном случае мы окажемся в положении пьяницы, который не может вернуться домой.

Грех – это адская пленка с фонограммой, которая отупляет нашу душу и которую мы должны научиться заглушать.

Lass mich schlafen (Шиллер, *Abschied*). Нежелание бодрствовать – искушение, которому можно подпасть двумя способами. Либо поддаться воздействию рутины, усыпляющему чувству реальности и скрывающему, что линия фронта переместилась. Или отдаться опьянению новшествами, все более многочисленными и на свой лад лишающими чувства реальности.

Наши мысли заполнены романами, которые мы себе придумываем. Через три месяца они не будут нас волновать, если мы вообще о них вспомним.

Внутреннее варварство – когда душа заполнена психологизмом.

Чтобы воспрянуть, стремиться не к эксцентризму, а к инцентризму, не сойти с орбиты, а вернуться на нее.

Как евангельский юноша (Иоанн 9:10), давать то, что имеешь, то есть обычно – не больше пяти ячменных хлебов и двух рыб. Об остальном позаботится Бог – превратит их в тысячу, если будет нужно.

Веселость. Живая легкость, воздушная, не тягостная для другого, радостная и глубокая. Улыбчивая серьезность сердца.

Иметь музыку в душе, быть «взволнованным встречей двух звуков» (Шекспир, Венецианский купец, V, 1) – значит желать гармонии между вещами и между людьми, гармонии, которой управляет музыка сфер, не слышимая, но угадываемая; это значит почувствовать, что сотворенный мир подчиняется упорядочивающему воздействию этой небесной гармонии. Наконец, это означает уже здесь стремиться ко вступлению в ангельские хоры. *Mark the music!*

Совершенная жизнь – счастливая, добродетельная, музыкальная.

Словарь человека – красные кровавые шарики его духа.

Не нужно бояться традиционных слов. Это симптом измельчания.

О благе беседы. Если тебе пришла в голову мысль, представь ее на рассмотрение умов пронизательных и быстрых, повари ее на огне их вопросов и возражений, даже их нападков. Потомними пены с этого бульона, чтобы осталась только квинтэссенция. Быть может, ты заметишь, что очищенная и обработанная таким образом, твоя идея – жидкая похлебка. Значит, она была никуда не годна. Выбрасывай ее. Если, напротив, в процессе приготовления она стала вкуснее, подавай ее.

Хрупкость промежуточного: душа погибает быстрее, чем тело и ум; семья быстрее, чем индивидуум или государство; мелодия отступает перед ритмом и гармонией. Рубенса бросают ради фотографии; от животных инстинктов переходят к буддизму, забывая о Воплощении; от ничто к абсолюту, обходясь без религии; от болтовни к апофатике, не уделяя внимания авторам; от толпы к одиночеству, не соглашаясь любить. А ведь именно промежуточное – истинное место для человека, по призванию строителя мостов – pontifex.

Непреклонность ума, максималиста и доктринера по природе.

Gaudium de veritate (Августин Аврелий). Радость исходит от истины. Поэтому нет радости, когда нет истины, или когда софисты убеждают своих соотечественников, что все истинно, потому что не истинно ничто.

Всю свою жизнь он стремился к пониманию великих текстов, восхищался великими современниками. «Это доказывает, – замечает Филия, – что он был неуверен в себе и что в нем преобладало женское начало». «Это говорит, – возражает Памфил, – о доверчивой силе, ибо, общаясь с великими, он не измельчал, а вырос».

Мысль и идея. Первая – плод зрелости. Она предполагает длительность, тишину, досуг за чтением. Во второй есть непосредственность, лапидарность, завершенность. Поскольку идеи можно собирать воедино, ими можно манипулировать. Идея подходит для инженерного ума, к какой бы области он ни обратился – даже если это философия. Мысль же освобождает от ремесленничества. Если человек мысли отличается от интеллектуала, то это различие заключается в том, что он не человек идей.

Во всем, что касается жизни ума, не столь важно решать проблемы, как ставить правильные вопросы и, поставив, непрестанно их обновлять. Так и становятся автором – *auctor* это тот, кто увеличивает (*augmente*), обогащает то, что уже есть.

Между истинным и ложным находится вероятное. Со всеми своими ступенями, со всеми образами и аналогиями, которые его выражают, оно – место постижения (*intelligence*) жизни. Вопреки видимости, оно противоположно скептицизму, ибо именно из совокупности вероятного каждый извлекает свои наиболее прочные убеждения. Именно вероятность, а не уверенность, существующая лишь как понятие, вызывает самое твердое, самое настоящее согласие. Перед нами нечто противоположное умственной лени: состоя из ступеней, вероятное призывает к восхождению и, если мы не хотим упасть в ложное, к непрестанному усилию, к точности, честности и рассудительности.

Даже самые отъявленные скептики живут так, словно жизнь имеет смысл.

Он лелеял вопросы до такой степени, что перспектива ответа заранее вызывала у него улыбку сомнения.

Ирония – форма слабой мысли, присущая сильному уму.

Поскольку Бог – это бытие (*Ego sum qui sum*), то если Его нет, тогда нет ничего; а это невозможно помыслить.

Atheos по-гречески не столько неверующий, сколько тот, кто лишен Бога или кого боги покинули. А-теист как а-патрид (лишенный родины).

Человек – *homo erectus* потому, что к нему, единственному из всех животных, Бог воззал с высоты.

Поскольку истина обязывает, они предпочитают темноту сомнения. Во мраке все позволено.

Уход от действительности: телевизор, компьютер, поиски толпы и шума, всевозможные наркотики, поездки на выходные, непрестанные перемещения, долги, тоска, эстетическая хирургия или прогресс. Все это *Flucht ohne Ende* (Йозеф Рот), *Flucht vor Gott* (Макс Пикар): бесконечное бегство, бегство от Бога.

Вера в Бога не бывает “чистой” и “бескорыстной”. Она берет исток в глубокой нужде каждого существа. “Я верю, потому что желаю этого всей душой, потому что без этой надежды мое существо чахнет”.

Великая суббота. Дарохранильница пуста и открыта, на алтаре ничего нет, свечи погашены, кропильница суха. Нет больше присутствия, ничего нет. Решающая пустота Субботы. Шехина, Присутствие, отныне и навсегда переместилась в воскресенье, первый день Нового Завета.

Ite missa est: идите, свершилось. Идите, ибо вы видели, как обралилось в факты то, что прообразовывали все мифы: об Исиде и Осирисе, Артуре и Мерлине, Леде и Аполлоне, об Астрее, Одине, Прозерпине;

идите, ибо стали плотью на алтаре все чаяния Израиля; идите, вы сильны, ибо образы стали реальностью и открылся их полный, радостный смысл; идите жить в мире и принесите в него жизнь.

“Да будет воля Твоя на земле, как на небе” : пусть люди научатся у звезд следовать по своим орбитам.

“Нашими трудами умы настолько потеряют целостность, что их можно будет убедить, будто истина – всего лишь пустое слово и будто помимо болтовни и каламбуров нечего сказать, да и говорить не о чем. О смысле отныне позаботимся мы сами” (Антихрист).

За пульсацией всемирной фонограммы распознать смрадное дыхание Антихриста.

Круг сварливых и озлобленных людей (например, **профсоюзы**): держаться от них подальше.

Твой дар никогда не бывает чистым и абсолютным. Только Бог может давать, ничего перед этим не взяв.

Когда неожиданно сияет – где бы то ни было – светлый луч понимания (intelligence), значит недалеко Бог.

Великая и прекрасная эрудиция возникает не из *libido sciendi*, а из стремления к дружбе, надежды на гармоничное общение с великими и сильными умами других эпох.

Современное общество – не модернизм, а постмодернизм. В нем господствует не атеизм, а постагезизм, потому что верить или не верить – в его глазах безразлично. Но приходится признать, что оно тяготеет и к постгуманизму, ибо альтернатива “человечный–бесчеловечный” тоже утратила весомость, поскольку, как мы слышим, человеческой природы не существует. Бесполезно возражать, что это не имеет смысла, ведь отвергается и необходимость выбора между смыслом и бессмыслицей. А потому оставим современное общество его кошмарам и выберем смысл, человека и Бога.

Он употреблял те же слова, что остальные, но у него они приобрета-ли другое эхо, потому что под ними были три этажа подземелий.

Ветхий Завет – педагог по отношению к Новому. Педагог в античности был рабом, который отводил ребенка в школу, но сам туда не входил. У синагоги нет ключа, и она не может вырастить взрослых. По этой причине еврей, который принимает крещение, не “обращается” – во всяком случае, не в том смысле, как язычник или атеист. Ему не нужно ступать на другой путь, ему нужно, чтобы открыли дверь.

Прекрасный человек – в котором нет раздробленности.

Становясь собой, обращаешься в ничто.

Антигуманизм – иконоборство.

Техническое решение – усложнять проблему, чтобы ее разрешить. Модернист: всякий, кто верит в неизбежную ценность нигилизма. Истинная свобода в том, чтобы уметь ограничивать свою свободу»¹⁸.

Из книги Маршадье ясно, что речь идет о выборе. К этому выбору подталкивает сам жанр афоризма – «вспышки ясности», концентрированной мысли, противостоящей хаосу. Выбор в пользу тишины – против шума, в пользу ясности – против сумбура и хаоса, в пользу эрудиции – против невежества, в пользу дружбы – против разобщенности. Мысль – это способ общения, и афористичная мысль в особенности взывает к отклику. Выбор в пользу формы против бесформенности, ибо в бесформенности расцветает нигилизм. Выбор в пользу смысла – против бессмыслицы. В конечном счете, это гуманистический выбор. «Оставим современное общество его кошмарам и выберем смысл, человека и Бога»¹⁹.

Примечания

- ¹ *Steven Kale*. French Salons: High Society and Political Sociability from the Old Regime to the Revolution of 1848. Baltimore, 2006. P. 9/
- ² *Dena Goodman*. Enlightenment Salons: The Convergence of Female and Philosophic Ambitions. Eighteenth-Century Studies. Vol. 22. № 3. Special Issue: The French Revolution in Culture. Spring, 1989. P. 330.
- ³ *Kale*. French Salons. P. 5.
- ⁴ *Jürgen Habermas*. The Structural Transformation of the Public Sphere: An Inquiry into a Category of Bourgeois Society. Camb. (Mass.), 1989.
- ⁵ Ibid. P. 30.
- ⁶ *Elias, Norbert*. The Civilising Process: The History of Manners. Vol. 1. Oxford, 1978. P. 39–40.
- ⁷ *Landes, Joan B.* Women and the Public Sphere in the Age of the French Revolution. Ithaca, 1988. P. 23.
- ⁸ http://infox.ru/science/past/2009/02/13/sarkozy_princesse_de_cleve.phtml
- ⁹ *Bernard Marchadier*. Eclairs de lucidite. Ad Solem: Ceneve, 2006. P. 13.
- ¹⁰ Ibid. P. 22.
- ¹¹ Ibid. P. 38.
- ¹² Ibid. P. 14.
- ¹³ Ibid. P. 9.
- ¹⁴ Ibid. P. 15.
- ¹⁵ Ibid. P. 16.
- ¹⁶ Ibid. P. 17.
- ¹⁷ Ibid. P. 42.
- ¹⁸ Ibid. P. 13–46.
- ¹⁹ Ibid. P. 33.